ЗВУК

У меня три пары беруш: для дома, для дачи и походные. Палатку я ставлю всегда подальше от костра. Иногда метров на пятьдесят отойдешь – все равно слышно, как поют под гитару на весь лес.

Но я не собираюсь писать про бардовскую песню. И беруши – это так, для разгона. Чтобы читателю было понятно, с кем имеет дело. То есть по части звука я больной на все уши. Не в том смысле, что у меня какой-то особенный слух или какой-то там изысканный вкус. Просто в последнее время я могу спокойно слушать только Старостина. Не знаете, кто это? Наберите в Яндексе: Сергей Старостин, музыкант.

А начать, наверное, нужно издалека.

В Кинешме через Первую Напольную, на которой мы жили, гоняли стадо коров, и я запомнил звук рожка: с него начиналось утро. Кинешма была большой деревней, но мои родичи были врачами, учителями, я вырос городским и только на фольклорной практике услышал голос деревенской песни. Было жарко, мы шли через поле по пыльной дороге, я не мог открыть глаз и держался, как слепой, за Женькино плечо – не из-за пыли: цвел мятлик луговой, метелки трав сеяли пыльцу, глаза резало так, будто в них сыпанули стеклянного перца, чесалось в горле, в ушах, в носу. Сенная лихорадка. Глаза открыл только в избе. И сразу закрыл: горница была пронизана светом, в лучах, бьющих сквозь частые окна, горел на хозяйке васильковый халат. Так и слушал с закрытыми глазами, потому и запомнил, наверное, слово в слово.

 На колодчике, на скрипучиим,

 на болотичке, на топучиим.

 На болотичке на топучиим

 добрый молодец

 своего коня поил.

 Не коня поил – он жену губил:

 – Не губи меня раным с вечера.

 Не губи меня раным с вечера,

 а ты губи меня со полуночи.

 Ты губи меня со полуночи,

 когда детки все

 спать улягутся.

Она пела еще что-то, но в памяти отложился только колодчик: этого было достаточно, чтобы понять, из какой глубины звучит деревенский голос.

Однажды в Амстердаме, куда мы пришли на большой деревянной лодке, капитан повел меня в Русский клуб, где за круглым столом сидели голландцы, немцы, две француженки и одна индианка: русская певица учила их народным песням моей далекой страны. Собственно, мы-то надеялись пожрать на халяву, а нам раздали голоса. Это была старинная поморская песня про белорыбицу. Мы с капитаном хрипло загудели в унисон: «Ой вы, ветры-вецяроцки, полудённы вихароцки, ой вы лей, лёли-лёли, ой вы лей, лёли-лёли…». И я решил, что если найду в Нижнем настоящий народный хор, буду в нем петь.

Хор я нашел в этнографическом музее на Щелоковском хуторе. Ходил на все их праздники, на Масленицу, на Троицу, подпевал, приплясывал, кружился в хороводах. Девушки в сарафанах, парни в рубахах навыпуск, в сапогах гармошкой – все им было в пору, все к лицу, а я себя в таком наряде даже представить не мог. Мне объяснили:

– У вас, наверное, предки городские? А у нас, у всех, кто собирает фольклор, корни деревенские. Мы собираем свое.

Дело вовсе не в наряде. Тебя и в джинсах пустят в круг, и руки протянут, но ты для них все равно чужой. Ничего с этим не сделаешь.

Лет десять назад дочь привезла из Нью-Йорка диски, на которых черным маркером были написаны какие-то английские слова. Сказала –
подарил питерский приятель, эмигрант, музыкальный фанат. Прошло два года. Случайно наткнувшись на пачку этих американских дисков, поставил один – с надписью «At Homе». Какой-то человек рассказывал про пастуха. Этот пастух, уже старик, прекрасно играл на рожке. И этот человек, рассказчик, в молодости своей, когда еще учился в консерватории, встретился на фольклорной практике с этим пастухом и решил попробовать на рожке. И ничего у него не получилось. Он не мог понять, как же так: вот он уже прикоснулся тайн высокого искусства, играет на кларнете, а не может повторить то, что легко выдувает через коровий рог деревенский мужик. И так это его забрало, что он бросил консерваторию ради той бездонной глубины, что открылась ему на вечерней зорьке, когда старик первый раз сыграл ему запевку: та-ра-ра-ра, та-ра, ра-ра-ра…

Костяной звук рожка ворвался в комнату, я вспомнил нож, которым дед разрезал бумагу, он был сделан из слоновой кости, его все время хотелось трогать и гладить, и звук рожка уже через минуту не казался мне резким, в нем проступило эхо морской раковины, которую мама привезла из Крыма, а я в нее гудел и слушал шум прибоя. Стены раздвинулись, уже не было никаких стен, был высокий берег реки, крутояр, в воде отражались елки и сосны на том берегу, подсвеченные закатом. Человек с диска отложил рожок и взял гусли, потом какую-то свистульку. Он пел, играл и все время рассказывал – так ровно, спокойно, словно сидел сейчас у меня в комнате, а не где-то там когда-то в каком-то большом зале. Люди хлопали, смеялись, их было много. Особенно всем понравилась колыбельная, которую бабушка этого человека пела ему в детстве, а он засыпал, не дождавшись конца, – про то, как пошел Козел за лыками, а Коза за орехо́м. В конце своего выступления человек сказал:

– И за то, что вы выдержали все-таки это испытание тяжелое, для вас сюрприз.

Попробую передать словами, что со мной произошло. Мой любимый писатель Анатолий Андреевич Ким говорит: возраста нет, старости нет, времени нет. Смерть есть. Но есть и безсмертие (именно так, через з). Мне в тот момент было уже сильно за пятьдесят. Бабушкино зеркало, огромное трюмо от пола до потолка, отражало мою фигуру, и в какой-то момент я увидел свое отражение. Оно плясало, кричало и плакало.

Это была «Буэна-Виста», наивная песенка про Чан-Чана, по уши влюбленного в Хуаниту: «Из Альто Седро еду в Маркане, А из Куэльто еду в Майари, То, что ты любима мной, От тебя мне не сокрыть. Я все голову теряю, Но мне надо дальше жить…» – в общем, вечная тема.

В детстве я без конца ставил пластинку, на которой в красном круге было написано: «“Тоска любви”, албанская песня». Рудольф Стамбола пел о том, что не передашь словами. Может быть, поэтому до сих пор нет русского перевода албанского танго «Тоска любви».

Еще из детства: Лемешев по радио на русском языке поет арию Каварадосси. Я знал, что название великой оперы нужно произносить с ударением на первом слоге, но в голосе певца жила не Флория Тоска, а тоска любви: «Услышал я шелест одежды, и вот вошла она и на грудь мне упала. О, сладкие воспоминанья! О, где вы, ласки, объятья и страстные лобзанья?!» Все эти ласки и лобзанья меня мало трогали, а вот шелест одежды… Дерево сбрасывает листья, как женщина платье, горькая сладость любви пахнет осенним костром, я это понял очень рано.

Так вот, «Буэна-Виста», разбитые кубинские машины, белье на балконах, обшарпанные стены старых домов, пыльные пальмы… Труба, рояль и контрабас, морщинистое лицо под соломенной шляпой, смуглые пальцы на струнах гитары, детские глаза стариков…

De Alto Cedro voy para Marcané,

Luego à Cuelto voy para Mayari…

И в этот мир Гаваны вплывает голос того человека, который рассказывал про Козу с орехо́м, и этот голос поет:

Когда уйду, не дрогнут горы,

И вспять не повернет река,

И не утихнут разговоры,

И не растают облака…

Я потом слушал «Эпитафию»[[1]](#footnote-1) много раз. Старостин исполняет ее в мажоре, под гусли она получается светлой. А тут – Испания с Африкой, тоска любви, горький миндаль минора… И что же? Все соединилось, слилось, сплелось: жизнь, смерть, любовь, безсмертие через букву з. Через запевку.

Если бы я не текст сейчас писал, а монтировал фильм, я бы точно знал, какую музыку сейчас подложить. Да вы сами можете это сделать, если компьютер под рукой, наберите: Старостин, Как у нас на синем море… Все сразу поймете.

Знаете, что происходит в центре Черного моря? Там нет ветра и нет волн, но нет и глади морской. Ходят под лодкой серые мышцы, бугрятся, вздуваются от напряжения, как будто густая масса энергии закипает и расходится из центра к периферии, гонит на берега пенные гребни. Как будто в полуторакилометровой глубине пульсирует сердце. Там я понял строчки:

 Глаз, засоренный горизонтом, плачет,

 И водяное мясо застит слух.

То ли дело крепкий, ровный ветер, большая волна, с которой легко договориться, если поймаешь ритм. Банка на корме полукруглая, сидишь на ней под углом в сорок пять градусов, правой ногой упираясь в борт. Поза нелепая, но тебе удобно. Рулевое колесо раз в десять шире автомобильного, поэтому руки у тебя раскинуты, словно ты назло Пруткову решил объять необъятное. Слева под киль заходит волна и валит мачту, уводит нос, но ты не сопротивляешься, ты даже слегка поводишь вправо рулем, поддаваясь напору волны, и как только она прошла под тобой и тебя потянуло влево, плавным движением рук выравниваешь лодку, танцуешь или гарцуешь на ней, а в общем –
ликуешь, но не как покоритель Эвереста, а как рыба в воде, ласточка в небе.

Когда ставишь парус под единственно верным углом к ветру, вода вдоль бортов начинает шипеть, лодка набирает скорость, волны подталкивают ее – так тебе кажется, а может быть, и в самом деле ветер с водой решили взять тебя в долю, потому что не видят в тебе покорителя, и в этот момент ты понимаешь, что корабль от бушприта до последнего шкота сделан так, чтобы соглашаться, а не сопротивляться.

Мне трудно представить, как добрый молодец, пропахший конским потом, опухший с медовухи, губит свою жену, нарожавшую ему семерых или пятерых, но точно – много деток. Летние ночи светлые, теплые, ребятишек домой не загонишь, а дома не угомонишь, до полуночи галашатся[[2]](#footnote-2) . Может, и она, вспомнив молодость, загуляла в хороводе с парнями, что ж взаперти-то сидеть, чай не грех какой – хоровод-от! Да уж больно крепко держал ее за руку Васька Губарь, жал да тянул за собой, а она все смеялась, головой трясла, волосы льняные из-под косынки выбились. Что же делать: муж – господин, хочет – казнит, хочет –
милует. Она свое отжила, отпела, отплясала. Лишь бы детки уснули, не видели.

Не так они говорили, конечно, а как – никто не расскажет. Это было давным-давно, давным-давно, так давно, что уж не вспомнит никто, не вспомнит, не вскрикнет, слезы не прольет, только песня одна и осталася.

Вы уж простите меня, что я с пятого на десятое перескакиваю. Я ведь про обычную жизнь пишу, в ней не бывает готовых сюжетов.

К тому времени, как Старостин приехал с концертом в Нижний, я уже знал, кто он такой. В антракте мы встретились, и первое, что он сказал, узнав о моей профессии:

– Телевизионщик? Надо снять фильм про ботник.

Он сделал правильное ударение – на и. Через два месяца мы начали съемки.

Несмотря на то что приходилось ползать с краном по зимнему лесу, снималось легко. Два мастера из деревни Аристово знали свое дело, им не нужны были слова, и скоро стало понятно, что слова по большому счету вообще не нужны. Еще стало понятно, что это история не про мастеров, которые рубят осину, чтобы сделать лодку-долбленку. И не про осину, которая жила-была, потом умерла, потом воскресла и ушла из леса. И даже не про любовь. Точнее, про все про это, собранное в одном слове: звук.

В зимнем лесу не шумит ветер, не поют птицы, не падает снег с еловых лап. Только перестук топора и тесла. А музыка должна быть непременно, потому что ботник – это не просто лодка. Я слышал, что на костре он распускается, как цветок, расправляет свернутые бока, разворачивает полость, в которую потом сядет человек, сменивший топор на весло. Но я не думал, что распорки – тонкие рябиновые веточки, которые упираются в размякшие на огне осиновые борта и раздвигают их, – так похожи на струны[[3]](#footnote-3). Что гусли так похожи на лодку.

Мы уже закончили съемки работы мастеров, уже два ботника через затопленный лес вошли в разлившийся Ухтыш и причалили к задам Аристова. Месяц им лежать на сеновале, обсыхать. А мы едем на дачу к Старостину, в Сокольский район, там березовая роща вся в птичьих майских голосах. Кажется, сам воздух звенит. Старостин берет гусли, садится на мох, прислонившись к березовому стволу. Спрашиваю, что такое звук природы. Думает, перебирая струны. Потом берет аккорд – в роще становится тихо.

– Вот интересно, слышат ли птицы меня?

Семь тысяч труб в органе церкви Сен-Сюльпис или коровий рог с деревянным пищиком – разница только в устройстве. Пастуший рожок, парусный корабль – инструменты, так ведь? И человек, который на них играет, ими управляет, – тоже инструмент. Представьте себе нашу Землю в виде сита, через которое проходит вселенский свет. Каждая ячейка пропускает свой луч. А если не свет, а дыхание? Если вместо дырочек в сите – трубочки, пищики разной длины, ширины, кривизны, с разным количеством клапанов?

Старостин снова провел рукой по струнам, на этот раз на тон выше. Гусли вздохнули, птичий хор замер и через секунду разгорелся с новой силой – на тон выше. Старостин взял другой аккорд – та же история. Они его слышали, слушали. Тогда он сказал:

– Звук природы? Дыхание.

Что этот эпизод войдет в фильм целиком, одним планом, какой бы ни был длины, я не сомневался, только молил бога, чтобы звук записался чисто, чтобы у оператора не дрогнули руки: меня-то самого трясло, и горло перехватило. Я же никогда не видел, как человек аккомпанирует птицам.

Семь тысяч рек впадает в Волгу. Не цифра заворожила Твардовского, а пространство в пол-России, которое открывается взору, когда произносишь эти слова – семь тысяч рек. Потому что каждый приток – сама Волга, как любая веточка на стволе – само дерево. И мы это чувствуем, когда слушаем или читаем «За далью даль».

Три тысячи народных песен собрал Сергей Николаевич Старостин, и все они в нем живут, текут, переплетаясь корнями, ветвями. И я чувствую эту речную систему всякий раз, когда он начинает петь. Три тысячи песен, а сколько в каждой голосов? Может ли один человек передать тысячеголосье?

Может. Я это чувствую, почти слышу. Не я один, разумеется. И он, конечно, не один такой на белом свете, но мне ближе всех, потому что я в детстве просыпался от звука рожка. Через этого человека я слышу дыхание природы, потому что народ был частью природы в те времена, когда песни текли от народа. Он сам – инструмент народа, которого больше нет. Как же мне было не посадить его в ботник и, дождавшись, когда он освоит технику гребли одним веслом, не крикнуть:

– А если спеть?

И вот он плывет по черной, покрытой майским пухом реке, в черной лодке, под шум берез и птичий гомон, вот он поет, и как же не взять это в фильм про звук, которым дышит природа, как же не взять его голос, его запевку, для которой кубинская ли, африканская, грузинская, украинская мелодия так же близка, как музыка Генделя, Баха, Бетховена?

Ах, если б вы знали, как это мучительно – всю жизнь дожидаться мгновения, когда этот звук пройдет через сердце и ты почувствуешь себя трубой в органе, своим в хороводе, водой в деревянном колодце, парусником в Черном море, певчей птицей в майском хоре!

1. «Эпитафия» – авторское произведение Сергея Старостина. [↑](#footnote-ref-1)
2. Галашиться (*кинешем*.) – возиться, шуметь, колобродить. [↑](#footnote-ref-2)
3. После фильма «Сделай себе ботник» в Суздале появился новый музыкальный инструмент – лодкострун: ботник с натянутыми в его животе струнами. [↑](#footnote-ref-3)